

БОЛЬШОЙ
РОМАН

МАРК ХЕЛПРИН



ПАРИЖ
В
НАСТОЯЩЕМ
ВРЕМЕНИ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44
X 36

Mark Helprin
PARIS IN THE PRESENT TENSE
Copyright © 2017 by Mark Helprin
All rights reserved

Перевод с английского Елены Калявиной

Оформление обложки Ильи Кучмы

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-15121-5

© Е. Ю. Калявина, перевод, 2019
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство ИНОСТРАНКА®

*Джулиану Лихту, Жюлю Хиршу и Франсин Кристоф,
а также, с благодарностью, Уильяму Уинстону —
поэту, критику, другу*

Жюль Лакур родился в 1940 году, когда его родители прятались на чердаке дома в Реймсе. Мама Жюля молилась, чтобы он не плакал. Плакал он редко, и следующие четыре года и Жюль, и его родители разговаривали только шепотом. Так началась эта долгая история.

I

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ



«Эр Франс», рейс 017

Распадающийся корпус самолета сулит мало надежд на второй шанс, и, поскольку катастрофы иногда случаются, путешествия по воздуху — хороший повод лишний раз задуматься о том, что было прежде и что может случиться потом. Хотя пассажиры изо всех сил уверяют себя, что, мол, статистика на их стороне, напряжение проплывает сквозь аэропорты, будто гонимые ветром тучи, а когда самолет поднимается на высоту 13 000 метров, пребывающие на борту волей-неволей начинают вспоминать то, что любят и что надеются успеть в отмеренное им время.

И если на земле осенняя погода может быть приятно свежей и позволяет уютно чувствовать себя в костюме, то Северная Атлантика убийственно холодна и неумолима. Волны, прежде достигавшие трех-четырёх футов, легко возрастают до десяти и более, но даже когда леденящий ветер чертит длинные линии пены поперек гребней волн со скоростью тридцать узлов, это еще не считается штормом. Хрупкий самолетик, собранный из миллиона ненавязчивых деталей, долгие часы летит высоко над этими холодными и мрачными морями. Приносят еду, фильмы мелькают на экране, совершаются телефонные звонки, свет приглушают, пока пассажиры спят под мягкими шерстяными одеялами. Но если самолет развалится в воздухе или рухнет в воду, смерть явится в ужаснейшем своем обличье. Нежданная для многих, но не для всех.

Громадное, потемневшего красного золота солнце почти село. Небоскребы и многоэтажки Манхэттена, объятые язы-

ками солнечного пламени с южной и западной стороны, остались в непроглядной тени с севера и востока. А в салоне бизнес-класса на борту рейса 017 компании «Эр Франс», следующего из «Кеннеди» в «Шарль де Голль» (которые, прежде чем стать аэропортами, были знакомы и пребывали у власти в одно и то же время), место у окна предназначалось Жюлю Лакуру, но тот, отыскав его и обосновавшись, не проявил ожидаемой радости насчет своего временного обиталища.

Низкие перегородки изгибались, обеспечивая уединение, и при этом будто нарочно были устроены так, чтобы беспрепятственно наблюдать вереницу пассажиров: туристов-египтян, филадельфийских домохозяек и студентов-выпускников, одного или двух младенцев. Но большинство мест в салонах первого и бизнес-класса занимали истомленные дельцы, которые, едва усевшись, немедленно разворачивали газету, открывали ноутбук или какой-нибудь скрепленный спиралью талмуд с кучей таблиц и диаграмм. Это если они не были вовлечены в телефонные переговоры, демонстрируя чопорную важность собственной персоны, заменяющую им кислород.

Самолет не был полон, погрузка прошла быстро, и суета на взлетной полосе говорила о том, что команда стремится как можно быстрее отсоединиться от посадочного терминала и приготовить самолет к взлету.

Когда самолет отбуксировали от терминала, открылся вид на Манхэттен от Бэттери почти до самого Хелл-Гейта. Частокол зданий с восточных фасадов был черен как смоль, но с запада солнечный свет так неистово обрушивался на стекло и металл, что сияющие буруны переплескивались через верхушки крыш, как морские волны, разбивающиеся о волнорез.

Пусть для него это была сцена горького поражения, Жюль Лакур не держал зла на этот город, который, в отличие от Парижа, но подобно самой жизни, был прекрасен и наперекор себе самому, и в сумме своих несуразных слагае-

мых. Манхэттен был даром, но не формы, а света и движения. Издалека или с большой высоты можно было слышать настойчивый звук, доносившийся оттуда, едва различимое жужжание, будто Манхэттен неустанно нашептывал истории обо всех своих насельниках, даже мертвых. Жюль не мог не любить Нью-Йорк, несмотря на мелкие обиды и унижения, которые он здесь испытал как иностранец, который никогда до конца не поймет этот город, не сможет ни бороться, как борется он, ни говорить, как говорят его жители. А те никогда не заговорят как он. Они даже имя его не в состоянии выговорить правильно, произнося «Джуэлс» вместо «Жюль».

Он так и не привык к этому, ведь во французском языке конечная «с» — немая, а первая буква его имени читается как «ж». Американцы почти преуспели, выговаривая Лакур, даже ставили ударение на второй слог, но «Джуэлс» бесил так, словно всякий раз, обращаясь к нему, люди нарекали его собачьей кличкой «Бижу»¹. Нет, английский Жюля был вовсе не безупречен — у него имелся сильный французский акцент, но в Америке, похоже, вообще никто понятия не имел, как произносятся иностранные слова. И по-видимому, никто здесь вообще ни о чем слыхом не слыхивал, и Жюлю постоянно приходилось разъяснять собственные цитаты и аллюзии, так что он в конце концов бросил это дело. Де Голь? Черчилль? Ренуар? Уинслоу Хомер? Кавафис?² Знать не знаем. Телевизор (невидимый в выключенном состоянии), встроенный в зеркало в гостиничной ванной, напугал Жюля чуть ли не до полусмерти, когда он случайно нажал какую-то кнопку и на него из зеркальных глубин уставился Мик Джаггер. Та же адская машина показала Жюлю интервью с американскими пляжниками, которые

¹ *Jewels* (англ.), *bijoux* (фр.) — ювелирные изделия, украшения.

² *Уинслоу Хомер* (1836–1910) — американский художник и график, наиболее известный своими морскими пейзажами. *Константинос Кавафис* (1863–1933) — выдающийся греческий поэт, писал на новогреческом и английском.

считали, что в 1776 году Америка получила независимость от Калифорнии, что Луна больше Солнца, что до Северной Кореи можно добраться «грейхаундовским» автобусом¹, что Аляска — это остров южнее Гавайев и что Верховный суд — это такой мотель в Санта-Монике. И как только Америка ухитрилась стать такой богатой, могущественной, изобретательной? Или, скорее, сколько она еще сможет таковой оставаться?

Наращивая обороты громадных двигателей, пилоты ровно и медленно продвигали самолет вперед. Элероны и закрылки осуществляли свои неторопливые маневры, спойлеры выскочили из нор, как луговые собачки, и снова попрятались. Насыщенные гармонии и едва уловимое трехголосие в верхнем регистре на фоне все еще превалирующего баса сообщали о том, что, невзирая на уже очевидную огромную мощь, турбины по-прежнему пребывали в покое, а басовый контрапункт свидетельствовал, что они жаждут набрать полную силу. Музыка, даже такого рода, была повсюду — гонец, несущий весть из недоступного, но вечно влекущего края, где совершенство струится легко и беспрепятственно. В минуты глубочайшего отчаяния — когда умерла его жена, когда единственному внуку поставили диагноз «лейкемия» (причина его приезда в Америку) — Жюль Лакур по-прежнему слышал музыку, возникающую из самых неожиданных источников: из ритмичного перестука стальных колес на железной дороге, впрочем ставшего редкостью во Франции с тех пор, как стыки на рельсах стали соединять сварными швами, из щелчков лифтов, когда они движутся в шахтах, из непредсказуемых гармоний уличного движения, шума ветра в ветвях, из гула работающих механизмов, воды, текущей и падающей или вздымающейся волнами. Даже в безысходности музыка возникала из ниоткуда и пробуж-

¹ «Грейхаунд» — крупнейшая в Северной Америке автобусная компания междугородных перевозок, существует с 1914 г.

дала Жюля к жизни. Он был виолончелистом и просто не мог быть никем иным. Мир обладал мужеством, верой, красотой и любовью, а еще в нем существовала музыка, которая, будучи, впрочем, не просто абстракцией, равна величайшим абстракциям и грандиознейшим идеям — своей силой возвышать, прояснять и поддерживать душу, силой, вовеки непревзойденной.

Самолет равномерно катился, пока не подъехал к началу взлетной полосы, где и остановился, чтобы в последний раз проверить готовность и получить разрешение на взлет. Стюарды и стюардессы, коих ныне зовут без разбора бортпроводниками, как будто они существа бесполое, заняли места лицом к своим подопечным, дабы незаметно за ними приглядывать. Самолет почти развернулся, кончиком левого крыла описывая огромную дугу, а правым бортом пятясь осторожно, как испуганный зверь. Моторы врубались на полную. И, как в юности, когда он был солдатом на борту самолета, взявшего после взлета курс на Африку, едва самолет разогнался и оторвался от взлетной полосы, Жюль позабыл свои невзгоды. Война в Алжире закончилась так давно, что на вопросы о ней он просто отвечал: «Эта часть моей жизни уже стала музеем».

Они взлетали на огромной скорости, преодолевая силу притяжения. По правую сторону искрился Манхэттен, его затененная сторона мерцала неисчислимыми огоньками. Они были по большей части белыми или серебристыми, но некоторые выблескивали красным — на верхушках дымоходов и мачт — или складывались в световые треугольники на крышах небоскребов — зеленые, золотые или голубоватые. Солнце свалилось в Нью-Джерси, от светила остался теперь лишь пылающий красный ободок.

Вскоре они достигли достаточной высоты, чтобы уловить проблеск тонкой струйки расплавленного серебра — Гудзона, — которая оборвалась, когда они накренились, уходя на северо-восток и не переставая взбираться, теперь уже более размеренно и с меньшим надсадом. В салоне включи-

лись лампочки. Бортпроводники отстегнули привязные ремни и встали. Щелчки алюминиевых застежек звучали два полных такта. Чутьочку дополнить — и они могли бы послужить вступлением к теме фламенко. Жюль наделил тему ритмом и оркестровкой, и вот, пусть только для него и лишь на мгновение, она заполнила звуками салон. Музыка умолкла, и дары ее вернулись туда же, откуда нагрелись.

Как бы ни был велик гений дизайнера, понадобились тысячелетия, чтобы смоделировать крой униформы стюардессы компании «Эр Франс». Каждая вытачка, каждый рельеф любовно подчеркивали красоту и пленительность ее тела и прелесть лица. Ткань глубочайшего синего цвета грациозно отворялась у шеи, словно была влюблена в сложную анатомию, дополняемую ею. Как не замереть от восторга при виде роскошного красного банта на талии, слегка расклешенного подола пальто, безупречно струящейся ткани. В покрое соблюдались законы столь же причудливые и таинственные, что и во всех семи видах искусства, роскошная простота — секрет не только французской моды, но, пожалуй, и самой Франции. И платье, и пальто, и макияж всеми силами привлекали внимание не к себе самим, но к женщине, которую они украшали, — так архитектура Парижа, переплетение его улиц, гирлянды деревьев, оформление садов, каждый карниз, фонарный столб, перило или арка привлекали внимание не к себе самим, а были лишь частью длинной вереницы красот, ведущих в невиданные и невидимые миры. Равно прекрасны и композиция картины, и верные слова в верном порядке на странице, и музыка, разворачивающаяся в пространстве, и золотые пропорции струящейся ткани на женщине, оживающие, когда она движется.

Изнутри желтовато-белой яичной скорлупы своего кресла-кровати Жюль наблюдал, как стюардессы перемещаются по салону. Даже не будь они красавицами, они все равно были бы прекрасны. Ароматы косметики, отличные от запаха духов и для него куда более восхитительные, предполагали

чуть ли не театральную подготовку. Начало полета для этих женщин было как взлет занавеса на сцене. Когда ожидания непомерны, а большинство пассажиров бодрствуют, стюардессы на вершине славы. Заранее избавленные от верности и привязанности самим фактом путешествия, скоростью, с которой земля остается позади, возможностью катастрофы и вознесения в те высоты, которые львиную долю истории человечества назывались раем небесным, многие присутствующие на борту свидетели этой игры света и движения воображали новую жизнь как встречу с кем-то вроде ангела высоко над землей. Впрочем, экономисты, управленцы и чиновники, наверное, видят это иначе — таково пагубное влияние деловой поездки.

Стюардесса приблизилась к Жюлю, грациозно склонилась и поинтересовалась у него по-английски, что он предпочитает на обед. Он пробыл в Америке больше месяца и растерялся от ее манеры держаться и говорить, а посему ответил ей на том же языке. Поначалу они не признали произношение друг друга, но острый слух музыканта вскоре уловил в ее английском предательские нотки родного языка, и тогда он заговорил с ней по-французски. Будь Жюль помоложе, он влюбился бы немедленно. Девушка была по своему красива. Поначалу он этого не разглядел. Но увидел теперь. И хотя он не был моложе, он на самом деле начал влюбляться, на миг, на минутку-другую, в оставленное ею сияние. Затем воспротивился, как и она сама, когда склонилась к следующему пассажиру и заговорила с ним. Жюль частенько вот так влюблялся — сильно и молниеносно, в женщин, по праву достойных любви и ею не обделенных. Но все эти порывы страсти быстро вылились в глубокую любовь его к Жаклин, женщине, которой больше нет.

— А я думал, это запрещено, — сказал он вернувшейся стюардессе, указывая на нож на подносе, который она только что перед ним поставила. Серебро мерцало под светом лампочки для чтения.

Вместо того чтобы дать официальный ответ, она пожала плечами, при этом ее ладно скроенный воротничок скользнул вверх-вниз вдоль очаровательного изгиба шеи.

— В кабине надежная дверь, — сказала она. — А в салоне должны быть безопасники в штатском. И хотя, похоже, никто об этом не задумывался, у других пассажиров тоже есть ножи на подносах, так что их больше, чем вероятных террористов.

На лице его отразилось признание ее правоты и того, что он не подумал об этом. Стюардесса улыбнулась, повернулась и исчезла в проходе между креслами.

Он обратил свои взоры к еде. В воздухе Жюль всегда ел помалу и с оглядкой. На тарелке перед ним лежал квадратный ломтик какой-то рыбы, с виду напоминавший кусок желтого печенья. Он и так-то почти не употреблял спиртного, а в полете вовсе не пил, но тут сделал исключение для маленькой бутылочки шампанского «Поля Роже». За едой он разглядывал бутылку, вместо того чтобы сидеть, уставившись в перегородку. Этикетка восхищала скромностью: изящная каллиграфия на незатейливом белом фоне. В отличие от прочих марок, бутылка «Поля Роже» осталась без сверкающей фольги вокруг горлышка. Шампанское было создано для того, чтобы искриться и сверкать бликами отраженного света, бутылка же сама по себе не сияла. Но лампа для чтения озаряла пузырьки, волнистыми серебряными линиями пронзающие снизу вверх золотое море.

В этой мелочи и других подобных мелочах — в совершенном и причудливом восхождении крохотных капелек, в точности одного размера и безупречной сферической формы, в бесчисленных молекулах воздуха, которые, беспрекословно подчиняясь законам гидродинамики, удерживают самолет на высоте тысяч миль над океаном, в топливе, сгорающем без икоты, в турбинах, которые вращаются, не разлетаясь на части, — секреты жизни не поддавались ни расчету, ни разумению. Не просто «задача трех тел», не просто физика, но скорее добросовестное постоянство природы. Свет

неизменно точно отражался в крошечных зеркальных сферах пузырьков шампанского, движущихся строго по законам Вселенной. Как самолет держался за тысячи миль от земли в воздухе, невидимом даже при свете, так самые разрозненные явления выдавали фундаментальнейшие истины.

После шампанского и до того, как он успел это понять, поднос был унесен, а лампы в салоне потускнели. Где-то над морем, не ведая ни в скольких сотнях километров они от Галифакса, ни сколько сотен островов находятся строго на север во мраке, Жюль Лакур опустил спинку сиденья примерно на четверть, взглянул на часы и затем — в окно. Салон постепенно угомонился, и стюардессы скрылись. Стоя в нише, освещенной сверху и обрамленной чернотой, они тихо беседовали и иногда смеялись. Большая часть работы для них закончена до утра. Возможно, та, что ему понравилась, думала о нем. Из семи часов двадцати минут полета осталось почти шесть часов — шесть часов раздумий над тем, как спланировать реванш, спасти жизнь, отдав свою собственную. Окруженный звездами, самолет торил тропу в ночи, покачиваясь вверх-вниз безмятежнее, чем лодочка на тихих морских волнах.

Париж его памяти

Хождение на веслах в водах Сены — дело трудное и порой даже опасное. Течение здесь упорное, особенно после обильных дождей, когда вода высока и несется так стремительно, что хороший гребец борется с потоком изо всех сил и в лучшем случае стоит на месте, а в худшем — его сносит назад. Тут тебе и баржи, которые никак не назовешь образчиком поворотливости, и длинные прогулочные батобусы¹, и несущиеся очертя голову скутеры с пьяными чудилами у руля, топляки, подталины и льдины — все угрожают утлым и хрупким скорлупкам-одиночкам. А еще добавьте водовороты и неумолимые стены в каналах, от которых не увернешься, — словом, никак не лодочный рай, особенно если ты стар.

Но Жюль впервые взял весла в руки в четырнадцать и за шестьдесят последующих лет не утратил сноровки. Многолетний опыт принес ему почти совершенное знание водоворотов, рикошетов и быстрой воды и как она вихрится вблизи мостов, островов и барж, стоящих на приколе. И все равно он всякий раз не без опаски садился в лодку, ведь, несмотря на то что все переворачиваются рано или поздно, равновесие Жюля оставалось непоколебимо вот уже более полувека, и ему очень хотелось удержать этот великолепный рекорд. Более того, Жюль чувствовал, что испытывает судьбу. Если он действительно потеряет равновесие, чего с ним никогда не случалось, то сообразит ли, что делать? Да, он пре-

¹ *Батобус* — экскурсионный речной трамвай в Париже.

красный пловец, но это не имело никакого значения. А вдруг он запаникует в холодной воде, у него остановится сердце или баржа на полном ходу его раздавит?

Но ничего подобного не случилось тем августовским днем, за несколько месяцев до того, как Жюль понял, что полетит в Нью-Йорк. Он плавно скользил по течению, а потом идеально причалил к берегу. Если бы кто-то увидел Жюля на реке, лоснящегося от пота в августовской жаре, то мог бы принять его за мускулистого атлета под пятьдесят или чуть старше. Это стоило труда, всю жизнь он выдерживал железный режим, в пронизывающий холод заставлял себя выходить из дому и бегать сквозь снег и слякоть или грести на ледяном ветру, никогда не ел столько, сколько ему хотелось бы, тратил на тренировки драгоценные часы, которые мог бы посвятить своей карьере. Но еще сызмальства, задолго до того, как осознал это, Жюль принял решение, что до самого дня своей смерти будет достаточно силен, чтобы защитить себя.

Пол душевой кабинки в ветхом лодочном домике — барже, незаконно поставленной на прикол у насыпи, — был выстлан эвкалиптовыми досками и настолько пропитался ароматным маслом, что не гнил и не скользил. Вода лилась тоненькой струйкой, аскетизм сарайчика было сложно превзойти, но Жюль и не нуждался в роскоши. Не нужны ему были ни элегантный шкафчик в раздевалке, ни стопка свежестиранных полотенец на полке, ни «мерседес», припаркованный снаружи, ему лишь хотелось знать, что, освеженный и чистый, он сможет без малейшей одышки взбежать по каменным ступеням, ведущим на улицу.

После смерти Жаклин он цеплялся за повседневность: подъем, завтрак, прогулка пешком до линии «А» регионального экспресса, поездка до Шатле-Ле-Аль (трудная и опасная), пересадка на линию «Б» и переезд до станции «Люксембург/Бульмиш»¹. Потом он миновал порталы старой

¹ *Бульмиш* — сокращенное название парижского бульвара Сен-Мишель, одной из главных улиц Латинского квартала.

Сорбонны, с благоговением отмечая совершенство древних очертаний, а позднее его ждал отвратительный новодел станции метро «Клиньянкур» на северо-востоке Парижа. Начало занятий, музыка в обществе молодых людей, воодушевленных энергией, усердием и преодолением, уроки и критические замечания, в которых он слишком увлекался мистической достижимостью идеального звука, затем карательные упражнения на реке, восхитительное облегчение пешей прогулки по городу, поезд домой, покупки, ужин, чтение, игра на виолончели, раздумья, воспоминания, молитва, сон.

В совокупности своей эти занятия составили метроном его жизни, Жюль успокаивала их неукоснительная, как тиканье часов, последовательность, в конце концов неизбежно ведущая его к женщине, которую он любил большую часть своей жизни. Но сегодня все будет иначе. Ритм одиноких дней, что вели его к ней, был несовершенен, омрачен его слабостью и желанием жить, и сегодня он позднее обычного прибудет в Сен-Жермен-ан-Ле, потому что вздумал искать утешение не в музыке или воспоминаниях, не в синагоге или церкви, а в другом месте. Он собрался совершить немислимое. Пойти на прием к психиатру. В Париже, в августе.

Но один все-таки остался, на «Вилле Моцарт», три пролета вверх в до того бесшумном доме, что ходить по нему — все равно что оглохнуть. Стены приемной цвета морской волны, мебель в стиле ампир из красного дерева и вишни. Жюль даже присесть не успел, как появился доктор. Этаким очкарик с бородкой а-ля Фрейд, он стоял у звуконепроницаемой двери кабинета и смотрел на своего предполагаемого пациента, который был старше его, пусть и не на много. Хотя доктор Дунаиф и был одним из тех считанных психиатров, не уехавших из города в августе, профессиональный престиж его был легендарен. Жюль в невежестве своем нашел его номер в телефонной книге, и это был его четырнадцатый по счету звонок.

Дунаиф стоял и молча изучал Жюля — так любитель живописи смотрит на картину. Постоянно бывая среди людей, привыкаешь смотреть в лица и не видеть их. Но на лице написано так много — о прошлом, о правде, надежде, боли, любви и скрытых возможностях, — что каждый мужчина и каждая женщина заслуживают кисти Рафаэля или Вермеера, чтобы все это отобразить.

Что же видел Дунаиф? Он предположил, что человек, стоящий перед ним, как и очень многие — хотя здесь все высечено с особой, необычайной глубиной, — несет в себе тяжесть прошлой жизни, не покидающей его никогда, любовь к тем, кого уже нет, запас ярких воспоминаний и, не в последнюю очередь, раны истории. Этот умный, храбрый и поверженный старик, сидящий перед ним, и наверняка неразговорчивый старик был куда интереснее доктору, чем сексуальные муки и карьерные невзгоды, изливаемые каким-нибудь двадцативосьмилетним нытиком.

Через несколько минут созерцания Жюль спросил:

— Может, я войду и мы поговорим или вы предпочитаете просто стоять в дверях и смотреть на меня?

Дунаиф широко и гостеприимно повел правой рукой, приглашая гостя войти в кабинет. Два портфенетра¹ с видом на улицу были открыты настежь, белые тюлевые занавески спокойно колыхались в такт дуновению августовского воздуха. Просторный кабинет в три раза превосходил приемную и был полон книг — три стены от пола до потолка занимали книжные стеллажи, книги стопками лежали на столиках и на докторском письменном столе, но все равно места оставалось еще предостаточно. До того как в конце войны дом был разделен на несколько квартир, эта комната служила главной семейной гостиной.

— Вы живете здесь же? — спросил Жюль.

¹ *Портфенетр* — так называемый французский балкон, представляет собой застекленную дверь с ажурным ограждением или немного выступающим балконом.

— Выше этажом, — ответил Дунаиф, садясь на стул.

Он сцепил пальцы и чуть наклонил голову, не сводя с Жюля глаз и словно вопрошая: «Ну, что ты должен мне рассказать?»

Не вполне готовый исповедоваться, совсем как новичок, делающий первые шаги в музыке — зачастую тихие и робкие, Жюль начал издалека.

— Кажется, вы единственный психиатр на весь Париж, который сегодня работает, — сказал он. — Какой психиатр... нет, какой француз останется в Париже в августе?

— Я не любитель пляжей, — сказал Дунаиф. — Особенно когда там все. Поэтому я здесь. В августе город тих и прекрасен в своем запустении. Хотя молодые остаются дежурить в больницах, кто-то постарше должен быть на связи, чтобы направлять их.

— А почему никого нет в приемной? Ваш секретарь? Я видел там стойку регистратуры.

— И она, и все остальные сейчас кто где. Париж сжимается, когда они берут с собой все, что, как им кажется, они оставляют позади. На Лазурном Берегу мужчины не на жизнь, а насмерть бьются в теннис, а женщины щеголяют друг перед дружкой сумочками. Как на Фобур-Сент-Оноре¹. Все на побережье, кроме нас с вами. А вы-то почему остались?

— Я перестал ездить к морю, когда умерла жена. Да и раньше мы выбирались туда, где побезлюдней. На побережье Атлантики к северу от Жиронды. В отличие от остальных жителей Франции я не боюсь плавать в прибое. Вертолеты часто нависали надо мной и по громкоговорителю требовали, чтобы я вернулся на берег. Один как-то раз даже приземлился, и полицейский попытался меня оштрафовать.

¹ *Фобур-Сент-Оноре* («улица предместья Святого Гонория») — улица в VIII округе Парижа, известная главным образом тем, что на ней располагаются магазины знаменитых парижских домов высокой моды.

Я возразил, что плавать в океане — не преступление, но, очевидно, они все-таки думали иначе. Они потребовали документы, которых у меня при себе, конечно же, не оказалось, поскольку я был в одних плавках. Спросили, как меня зовут, чтобы выписать мне судебное постановление. Я назвался Аристидом Рыбой, и один полицейский меня чуть не треснул. Они оглянулись на вертолет, но пилот pokrutil головой: мол, нет, мы и так уже под завязку. Тогда они улетели. Это было похоже на сон.

— Да, — сказал Дунайф. — Вчера приходил пациент, который видел точно такой.

— Распространенная фобия, — ответил Жюль ему в тон. — Вертолет вылавливает тебя из моря.

— Рассказывайте дальше.

— Про побережье?

— Про что угодно.

— Про что угодно... — повторил Жюль, глядя в пол.

— Про все, что происходит с вами.

— Ладно. Это ужасно, мне это страшно не нравится, но, когда я оплачиваю квартальные счета или даже годовые, когда завожу часы каждую неделю, я совершенно уверен, что делал это накануне, не семь дней назад, и не тридцать, и не сто двадцать дней тому, а вчера, будто время остановилось. Когда я ставлю две тысячи четырнадцатый год на чеке — а интересно, молодежь вообще нынче выписывает чеки? ходит ли на почту? читает ли газеты? Похоже, что нет, — я будто попал в фантастический роман. Иногда я пишу на чеке: «тысяча девятьсот пятьдесят восьмой» или «тысяча девятьсот семьдесят пятый», потом перечеркиваю, потрясенно пишу нынешнюю дату и плююсь на нее, как африканский зулус или американский индеец, забавы ради привезенный в Лондон или Париж в семнадцатом веке. Такое существо, похищенное из родного дома, и не важно, насколько трудно ему жилось в нем, неизбежно затосковало бы по своему мирному прошлому. И в новом для него Старом Свете его осознание будет всегда притупленным, слух —

приглушенным, а зрение — искаженным и замутненным. Какая бы красота его ни окружала, только дом — затерянный там, за бескрайним как будто бы морем, — будет для него по-настоящему прекрасным.

— Я понимаю, — сказал Дунаиф. — А позвольте спросить, что именно удерживает вас в вашем прошлом и не дает жить полной жизнью в настоящем?

— Вина.

— Я слышал об этом. — Психиатр был евреем и знал, что Жюль тоже еврей. — Это ведь Франция, в конце концов. Благочестивые, поднаторевшие католики и те идут сюда исповедоваться. Те, кто перестал ходить на исповедь, приходят каяться в том, что не исповедуются, — чем не исповедь. Евреи, у которых исповедников нет, — чемпионы по саморазоблачению, однако, рассказывая мне о своих грехах, настоящих или вымышленных, вы их не искупаете. Моя работа — не прощение, но понимание.

— Я знаю. Потому и не считаю, что вы или кто-то вроде вас сможет мне помочь.

— Может быть. А может, и нет. — Дунаиф сочувственно подался вперед — если такое вообще возможно; но ему удалось. — Расскажите мне.

— Рационально это или нет, но я чувствую себя ответственным за смерть многих людей и даже животных. Когда умирает кто-то из близких, я думаю, что раз я не смог его спасти, значит я убийца. Эта идея не поддается логике, но от нее не избавиться.

— Это началось — когда? — спросил Дунаиф.

— С моих родителей. Во время войны. Я не спас их.

— Сколько вам было?

— Четыре с половиной.

— Я не останусь без работы, потому что раны младенчества и детства тавром впечатаны в жизни мужчин и женщин. Вы думаете: «Это случилось тогда, и я не могу вернуться и все исправить», — конечно не можете. Но посмотрим на это под другим углом. Теперь вы, взрослый человек —

осмелюсь даже сказать, если позволите, человек пожилой, — обвиняете четырехлетку, которому случилось быть вами, за неспособность самолично победить вермахт, СС, люфтваффе, кригсмарине, милицию Виши, коллаборационистов... Вы бы стали винить четырехлетнего, который не был вами?

— Конечно нет, но вы ошибаетесь. Любовь — абсолют. Ее нельзя измерить, или обуздать, или достоверно проанализировать. Она — единственное, за что вы хватаетесь, падая в пропасть. Когда любишь, твои переживания и могущество близки к божественным. И, подобно музыке, любовь наделяет тебя способностью так далеко шагнуть за пределы возможного, что ты даже сам этого не понимаешь. Так вот, когда ты любишь, как ребенок любит своих родителей, ты находишься в плену иллюзии, что безграничная сила твоего чувства способна их защитить. Не способна, я знаю, но моя душа этого не знает и заставляет меня желать смерти, чтобы я мог разделить их судьбу.

— Гамлет спрыгнул в могилу Офелии. Но потом выпрыгнул обратно.

— Вот и я это делаю, образно говоря, всякий раз. Но позвольте, я продолжу. На этом все едва ли кончилось. Луи Миньон и его жена Мари прятали нас некоторое время. Я оставался с ними в Реймсе, пока мне не исполнилось семь. Потом уехал жить к кузнам в Париж. На станции Луи и Мари обняли меня. Они плакали. Я плакал. И Луи попытался втиснуть мне в ладонь монетку, он сказал: «Купи шоколадку», но я не взял ее. Я был маленький мальчик, очень растерянный маленький мальчик, и думал, что, отказавшись от подарка, я выражаю свою благодарность! Его это глубоко ранило, а две недели спустя он умер. Я знаю, что не я убил его, но сами видите!

А следующей была моя собака Жюди. После того как меня отослали в Париж, меня сильно донимали в школе — безотцовщина, еврей, заика, да еще и с реймским акцентом, ребенок, чьи невзгоды продолжились тысячью затрещин и кровью — в буквальном смысле. Однажды, когда я возвра-

щался избитый домой, Жюли выбежала встречать меня. Она любила меня, а я любил ее. У меня никого, кроме нее, не было. Но в тот день без всякой причины я ударил ее. Никогда не забуду, как она закричала. Иногда мне снится ее крик. Почему я ее обидел? Теперь-то я знаю, ну и что? В обычном состоянии я взял бы ее на руки. Она так виляла хвостом, так рада была меня видеть, но я пнул ее больно. Она давно умерла. Порой когда я думаю о ней, то не могу сдержать слез.

Но и это еще не все. Был у меня кузен на двадцать лет старше меня — герой, служивший в «Свободной Франции». Он был высок ростом, у него была красивая девушка, и они брали меня с собой на всякие развлечения и долгие прогулки. Молодые влюбленные иногда репетируют родительство. Это было важно для меня, потому что я хотел быть в точности как он. Я всегда печалился, когда он уезжал, потому что, откровенно говоря, родственники, приютившие меня в Париже, не хотели иметь со мной ничего общего. Я их не виню. Ребенком я был трудным. Но мой кузен смотрел глубже. У них был маленький садик, и там был шланг для полива растений и травы. В том саду я играл или предавался раздумьям. Однажды в конце сентября он должен был уехать, и такси ждало его у ворот, чтобы отвезти на вокзал. Он сошел с крыльца в сад, чтобы попрощаться со мной. На нем был прекрасного кроя костюм. И что же я сделал? Я так не хотел, чтобы он уехал, что облил его из шланга. Кузен мой весь промок и продрог, но у него не хватало времени переодеться, потому что он должен был успеть на поезд. Меня ругали так, словно я душегуб-убийца. Но он вмешался и сказал, что все в порядке. Его взгляд сказал мне, что он все понимает и по-прежнему любит меня. Два месяца спустя он умер от меланомы. Что я знал тогда? Я думал, что он заболел, потому что простудился. Много лет я считал, что убил его. Конечно, я знаю, что это не так. Но какая разница.

Было еще много случаев подобного рода: питомцы, которых мне пришлось усыпить, животные, которых я сбил на

Оглавление

I

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

«Эр Франс», рейс 017	11
Париж его памяти	20
Страховой агент Арман Марто	49
Философ Франсуа Эренштамм	58
Этот самый Джек	77
Рождение джингла в Сен-Жермен-ан-Ле	98
Жаклин в Спарте	113
Вздымающиеся волны прошлого	127
Полицейский — твой друг	162
Миллион плавательных бассейнов	179
Амина Белкасем	188
Тысяча адвокатов	197
Огни, пронзающие сумрак	214
Приземление	226

II

КРОВЬ РАССКАЖЕТ

ДНК	231
Катрин и Давид. Франсуа	240
Фотография Жаклин	256
1944	268
Урок музыки	293

III
ВЕРЕН ДО САМОЙ СМЕРТИ

Солнце восходит над Арманом Марто	321
Огонь и дым весны	333
Когда свет и тепло успокоили Францию	341
Если под конец жизнь обретает характерные признаки искусства	363
Пациент, едва живой, свалившийся в проход в вагоне экспресса	374
Элоди, Жюль, Дювалье, Арно и Нерваль	395
Элоди одна	421
Август	428
Амина	446
На Большой террасе в Сен-Жермен-ан-Ле	460

Хелприн М.

Х 36 Париж в настоящем времени : роман / Марк Хелприн ; пер. с англ. Е. Калявиной. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2020. — 480 с. — (Большой роман).

ISBN 978-5-389-15121-5

Впервые на русском — новейшее произведение автора «Зимней сказки»: романа, ставшего современной классикой и недавно экранизированного (в главных ролях Колин Фаррелл, Джессика Браун-Финдли, Расселл Кроу, Уильям Хёрт, Уилл Смит; в российском прокате фильм получил название «Любовь сквозь время»). «Париж в настоящем времени» — это глубокий взгляд на жизнь и ее сложности через очищающую призму искусства и памяти. Итак, познакомьтесь с Жюлем Лакуром — виолончелистом, композитором, преподавателем Сорбонны, ветераном войны в Алжире; родители его погибли перед самым освобождением Франции от фашистской оккупации, и эту травму он пронес через всю жизнь. Он всегда «влюблялся сильно и молниеносно, в женщин, по праву достойных любви и ею не обделенных», и даже после смерти жены, с которой прожил всю жизнь, не утратил этой привычки. Однажды его старый друг, всемирно известный философ Франсуа Эренштамм, предложил Жюлю написать рекламный джингл для крупнейшей в мире страховой компании «Эйкорт», сулившей баснословный гонорар, и Жюль принял этот вызов — других способов найти деньги на лечение внука, страдающего от лейкемии, все равно не было...

«„Париж в настоящем времени“ — это в первую очередь лирическое высказывание о любви и утрате, воспаряющее до поистине джойсовских красот» (*The New York Times*).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

МАРК ХЕЛПРИН

ПАРИЖ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ

Редактор Александр Гузман
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Ирина Киселева, Анастасия Келле-Пелле

Подписано в печать 22.10.2019. Формат издания 60 × 90^{1/16}.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 30. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-BRM-23497-01-R